

**Борис Лавренев**

**Сорок первый**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.4  
ББК 84-4  
Л13

Л13      **Лавренев Б.**  
Сорок первый / Борис Лавренев – М.: Книга по Требованию, 2012. – 53 с.

**ISBN 978-5-458-03523-1**

**ISBN 978-5-458-03523-1**

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Борис Лавренёв  
Сорок первый

*Памяти  
Павла Дмитриевича Жукова*

# Глава первая

Написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапицей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба, Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяненной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человечьем месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлевые паровозы — ржаветь в глухих тупиках, — не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и ведро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

Оттого и пошли на человечество кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птицы сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочки текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараны свежие кожи, и запо-

лыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги – малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рядого вахтера вещклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова съзмалества тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурую правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож – две капли воды – на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрециваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появитьсяся буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, Чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбных потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подпиську об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка – тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать

склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: стих Марии Басовой.

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Между другими о Ленине.

Ленин герой наш пролетарский,  
Поставим статуй твой на площаде.  
Ты низвергнул дворец тот царский  
И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расплзлся от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

– Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь, ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

– Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

– Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» – любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супи-лась, молчала и краснела.

Данную в штабе подпиську Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастаться Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую ярко-цветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными выужными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо – то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестьянских воздух вдогонку вражеских пулеметов.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрюпели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдущие ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков – малиновый, и многое еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

## Глава вторая

В которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из выюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься, — отозвался мертвый голос из-за костра, — все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачий наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится, — бросил Евсюков, — было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячemu от костра колену. Отрубил голосом:

– Баста! Один путь, товарищи, на Арап! До Арапа как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся – и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил – замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

– А до Арапа что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

– Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

– На три перехода?

– Что ж на три! – А до Черныш-залива – десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим – верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

– Кончай! Мой приказ – на заре в путь. Может, не все дойдем, – шатнулся вспугнанной птицей комиссарский голос, – а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

– Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

– Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнулся в ветер:

– Чего сопли повесили? Тюпайте кашу – дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, хранили, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван Киргизии идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не遠ко! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоеной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке на плоском, что обденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилистился, — упоенно прошептал рябой молоканин Гзвозев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а

на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

– Тохта! Если ружье есть – кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричаться, – оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

– Ребята, забирай верблюдов! – орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявнули обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

– Ложись!.. Дуй их, дьяловов!.. – продолжал кричать Евсюков, валиясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди.

Непохоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, взглянувшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

– Мариутка! Гляди! Офицер! – повернул голову к подползшей сзади Мариутке.

– Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Мариутки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» – как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый